

Макс Шелер

Война как совокупное переживание

На эту войну можно было бы взглянуть с бесчисленно многих точек зрения. Из них я в последующих строках выберу всего лишь вопрос о том, каким содержанием и смыслом обладает она в качестве непосредственного совокупного переживания Германии как целого. Речь пойдет не о том, отчего возникла эта война как исторический факт, не о том, к чему она может привести, не о том, в чем состоят или должны состоять ее цели. Здесь не будет ничего объясняться, не будет даваться предписаний или советов. Изъятая из того потока времен и событий, который мы называем «историей», изъятая из всех сцеплений причин и следствий, средств и целей, война — именно в том виде, как она совокупно переживается всеми немцами, — должна будет обнаружить перед нами свой лик. В этом смысле всякое совокупное переживание народа является вечным и непреходящим. Оно несет свой смысл и ценность исключительно в себе самом. Не каким-либо успехам обязано оно этим смыслом и ценностью; оно не обязано за него отвечать или доказывать его перед лицом вины и преступлений отдельных личностей, перед лицом случайностей и превратностей судьбы, приведших к войне. Это содержание немецкого совокупного переживания принадлежит, скорее, к той «вечной жизни посреди времени», о какой так величаво и глубоко говорит Иоанн в своем евангелии.^[1]

Много огромного, в добре и зле, в облике и смысле, много никем не чаянного, настолько нового, что никакой ум не мог бы этого объяснить исходя из прежде существовавших фактов, вступило теперь в горизонт немецкого сознания. Что всемирная история еще таит в себе «больше таинственного и великого, чем полагают» (Л. фон Ранке), и что все мы вживаемся в совершенно неведомую и непредсказуемую сферу, которая медленно раскрывается в самом нарастании этого переживания; что история — это не просто прокручивание правил и законов, подобно восходам и заходам Луны и Солнца; что история — это, скорее, призрачный марш в ту страну, что открывается нашему взору лишь в ходе самого этого марша, — всё это образует ту новую *атмосферу* переживания, которой омыты все частные деяния и содержания этой войны. В духовном отношении, мы дышим новым воздухом; это воздух войны — в противовес воздуху мира, это воздух истории — в противовес воздуху социальных «порядков».

Не о том, чем стала «война» в переживании всех или некоторых отдельных немцев, групп, классов, профессий, сословий немецкого народа, не о том, чем стала она для тех, кто находится на фронте, в тылу или дома, должна здесь идти речь. Все это неохватно в своем

объеме и многообразии, всему этому нет мыслимой меры. Было бы самонадеянностью говорить об этом. Но как бы то ни было, все это заключено в одну общую раму; все это, даже в величайшем размахе своих возможностей, регулируется и направляется в единую колею тем совокупным переживанием, совместным прохождением, проживанием сквозь то единственное, что зовется «Германией» вообще, что не является всего лишь нацией, всего лишь государством или империей; что является всем этим одновременно, но вместе с тем есть и нечто большее, чем всё это. Совокупное переживание, общая жизнь — *существуют!* Ибо мы на деле пережили это как новую форму переживания, казалось бы, утраченную нами. И это гораздо больше, чем какое-то отдельное новое содержание нашей жизни; это тоже — новый духовный воздух и та атмосфера, в какую погружены *все* содержимые. А значит, долой произвольные конструирования лженауки, уверяющей, что совокупное переживание — это только сложный результат сложения переживаний отдельных людей, помноженный на взаимное знание и на то допущение, что каждый «другой» переживает нечто подобное! Нет! Нам стало ясно как день, что само по себе это *общее* переживания, творчества, страдания — уже являет собой своеобразную последнюю форму всякого переживания, что в этой форме одного, истинно «общественного» образа мыслей, верования и воли проступают наружу такие позитивные, новые содержимые, какие никогда не могли бы быть заключены в возможной сумме переживаний отдельных людей, так как они принадлежат совершенно иной сфере бытия и ценностей, чем та, которая доступна отдельному человеку. Ясно как день стало, что все мы — в форме совместности — каждый день переживаем поистине одно и то же: одну и ту же войну, одни и те же надежды, опасности, страдания, радости. «Совместно» лелеем мы надежды на будущее, совместно трепещем одних и тех же опасностей, совместно страдаем одним и тем же страданием; совместно верим мы со всею твердостью в нашу победу. Ясно как день стало и то, что всякий, сопереживая совокупное переживание Германии, всякое мгновение видит и знает: то, что содержится в этом совокупном переживании, неизмеримо обширнее, ярче, богаче, чем тот кусочек, тот фрагмент, какой позволяет изведать ему самому его случайное место внутри страны или вне ее — в Америке, Японии, Индии или где бы еще ни жили немцы; что всякий знает и видит: у этого целого есть смысл и значение, далеко превышающие сумму жизней всех нас теперешних, немецких людей, и даже сумму жизней всех наших детей и внуков. Всякий знает и видит — рискну сказать — непосредственно, что совокупное переживание Германии больше, богаче всего этого, и именно потому, что *всякий* видит и знает это (неважно, восхваляет он это или клянет), содержание совокупного переживания Германии должно быть больше, чем сумма всех единичных переживаний, — а не равно этой сумме или даже меньше ее, как логически

заклучала та прежняя, ложная конструкция времен мира. Заново, подобно позабытой звезде, открыв эту форму истинной *солидарности* и воочию увидев в ней «Германию», мы нашли нечто, что не зависит от нашего случайного предмета, от этой войны, которая с 1914-го будет длиться по год x , не зависит от места и времени открытия, от последствий и истоков войны, от победы и поражения, — не зависит подобно тому, как звезда не зависит от телескопа, через который ее в первый раз наблюдали. Мы не только по-иному видим нас самих, как нацию, и наше настоящее. Окружающий нас мир, земной шар, историческое прошлое и будущее человечества в этой заново переживаемой форме переживания уже приобрели совершенно иное членение, иной рельеф.

До войны земной шар лежал перед нами, переполненный множеством малых, подвижных, бесконечно пестрых вещей: людей, товаров, домов и т. д. Чем покойнее устремляли мы наши взоры в эти частности, чем шире позволяли скользить над ними, тем больше и шире, казалось нам, становилась сама Земля. Но тем сильнее эта просторная, широкая Земля закрывала собою *мир*, в котором она является мельчайшей частицей. И еще сильнее заслоняла она от нас *Бога* и небеса. Теперь земной шар сделался для нашего духовного взора на удивление малым, даже крохотным. И то, что расположено на его окружности, — это в первую очередь несколько больших, мощных целокупных существ, с началом войны восставших из моря общества, поднявшихся на его поверхность подобно непонятным чудушам, облики которых вдруг приобрели твердые, характерные, неповторимые черты. Эти мощные существа зовутся Англия, Франция, Россия, Япония и т. д. Разве не похоже это на то, как если бы мы взлетели на воздушном шаре и за пестрыми улицами, людьми, повозками, товарами увидели бы еще и город? *Единый* город, который, как таинственное целокупное существо, каким-то образом присутствует во всех его улицах и людях, накладывая на все эти частные существования *свои* неповторимые черты. В мирное время форма взгляда микроскопична, во время войны — макроскопична. Но если *Земля* становится столь крохотной, почти бедной — то *мир* становится больше, и его звездные просторы вновь распахиваются пред очами нашего духа. Точно так же ниспадают стены, скрывавшие будущее и прошедшее, твердые стены настоящего, проницаемые в мирное время лишь для усилий науки, — стены, тем более твердые и непроницаемые, чем менее мы замечаем само их существование. Из прошлого нашего народа и всего человечества встают тени мертвых, герои, наставники, учителя. Кажется, будто они причащаются крови наших падших; они подступают к нашей душе, и в нашем слухе, так долго бывшем закрытым для них, настойчиво звучат их советы и предостережения. И вместе с тем наш взор устремляется вдаль, в будущее Германии, на будущие жизненные возможности, на детей, на детей наших детей — и так до бесконечности. Что за ужасный демон — война,

которая, кажется, пожирает Землю и настоящее, еще вчера лежавшие пред нами широко и просторно, как богато накрытый стол? Что за светлый гений — война, которая вот так расширяет мир, делает историю и будущее такими огромными, светлыми и богатыми? Кажется, будто мы в первый раз выходим из глубины материка к широко простершемуся морю, приглашающему нас отважиться на многое и ничего не обещающему нам твердо.

А Бог? Во времена мира человек в духовном плане настроен, так сказать, на «внутреннюю политику»; он более живет в своем теле, чем в том, что духовно роднит его — или может роднить — со всеми его братьями. А поскольку тела с их ощущениями и влечениями сильнее всего отличают и отделяют нас, людей, друг от друга, человек во времена мира с таким трудом способен разглядеть объективно *общие* духовные силы. Как крестьянин, он больше живет в своей деревне и общине, как горожанин — в своем городе или, в лучшем случае, в своем узком «отечестве», а не в той большой, незримой духовной целостности, какую мы называем нацией и государством. Как политик, он больше живет вопросами внутривнутриполитического благосостояния, чем вопросами, касающимися взаимоотношений государств. И он в большей степени живет во власти земного, чем в *мире*. Этой формы и направления взгляда, как бы «внутриполитической», придерживается он и по отношению к миру как целому. Что по отношению к миру как целому тоже может существовать нечто вроде «внешней политики», что может существовать еще и нечто, создавшее этот мир, нечто такое, что несет этот мир, управляет им, сохраняет его, а не уничтожает, — всё это человек видит только тогда, когда он за Землею наконец замечает мир, когда он, уже не высчитывая будущее, а созидая его, взваливши на плечи собственную судьбу, на примере войны заново постигает смысл слов «деяние, дающее облик бытию»: бытие, которое основывается на *деянии* и даже во времена мира было лишь затвердевшим, застывшим *деянием*, к которому мы успели привыкнуть. Таким образом, война словно бы переворачивает направление зрения как в малом, так и в большом: рыбешка, которая плавала в аквариуме и думала, что аквариум — это море, замечает *стены* аквариума и его особый закон, управляющий ее жизнью. Но всякое прочное, привычное бытие теперь опять видится как несомое деянием и уже не выглядит столь прочным и само собой разумеющимся, как было прежде. С какими бы принуждениями не сталкивался индивидуум сейчас (будь он воин, лишенный, казалось бы, собственной воли, сведенный до роли колесика в целом; будь он гражданин под гнетом военного права), *человек* во всяком индивидууме как раз на войне опять обретает свою исконную, данную Богом *свободу*. Кажется, будто все формы общности, и прежде всего само государство, опять окунулись в тот таинственный первоисточник, из которого они когда-то возникли. Вновь становится ясным, что почти все великие народные, национальные и сверхнациональные

«имперские» объединения прежней истории представляют собой словно бы затвердевшие дела войны и что они некогда впервые вступили в бытие из хаотического потока все тех же сил, какие окружают нас сегодня. То есть то, что сегодня выглядит неизбежным и объемлет нас с немой силой, подобно природному закону, некогда было делом решения и выбора: быть или не быть, действовать или не действовать, — а значит, оно было делом *свободы*.

Вместе с тем, разве не вызывает ужаса то направление, какое принимает это обратное преобразование прочного и стабильного бытия в деяние и свободу? Массовая гибель, нищета, горе, крушение всех отношений, исчезновение способнейших и лучших... А в душах — ненависть и месть, грубость и одичание... Где же осталась любовь, гуманность, закон человеческого прогресса во всем том, что служит жизни и благосостоянию?

Здесь тоже следует задаться вопросом: а не открылись ли нам на *примере* этой войны новые знания о войне и о любви вообще, не обрели ли мы новых *форм* мышления и переживания, которые сами по себе не имеют ничего общего с этим примером, а только обнаружены при его посредстве?

<...> В небесах и на земле нет ничего, что способно было бы «произвести» любовь — ибо она сама производит все. И мир ее тоже не «производит». Но война и мир дают этой силе, всегда ищущей нового исполнения, всегда наготове ждущей в человеческих душах, разные русла, разные предметы, разные объемы, разные агрегатные состояния.

Разные русла: в состоянии мира (если оно сопричастно любви) это великая собирающая сила широко и неспешно разливается по земле, расчлененная на бесконечное множество маленьких речек и ручейков. Преобладает направление от индивидуума к индивидууму, и из-за деревьев не видно становится леса. В состоянии войны течение оказывается запружено; речки и ручейки соединяются в единые потоки, которые резко отделены друг от друга, но каждый из которых обладает мощным течением, силой напора, несравнимой ни с какой рекою мирного времени. Преобладает направление от общности к общности, а индивидуум является всего лишь «членом» общности.

<...> Для огромных масс людей война проявила себя в истории как *сильнейшая формирующая сила общности*. И в этом смысле я назвал бы войну грубым и суровым помощником более светлого, святого и прекрасного Гения Любви.

Все эти глубокие изменения в наших формах переживания мира приводят к тому, что возникает величайшее напряжение между ними и тем благоговением перед вечной ценностью *индивидуальной, единичной личности*, которое и являет собой главное начало

всего западного христианства, а внутри этой сферы — совершенно особый сущностный признак *немецкого* этоса и духа. Никакая война не может принудить нас к тому, чтобы у нас пошло на убыль это благоговение перед единичной личностью, эта любовь к индивидуальной, неповторимой душе — любовь, которая неведома Востоку. Одержав мы внешнюю победу над Россией, мы окажемся внутренне побеждены, если жертвой нашей победы падет нравственное основание *всей нашей* европейской культуры. Потому что сильными и великими делает нас сегодня не один только дух общности, не одно лишь вновь пробужденное войной чувство солидарности между классами, профессиями, сословиями, народностями, партиями, не одна лишь уникальная прусско-немецкая рационализация, претворение этого духа в закон под знаком нашей прославленной «организации», — нет, столь сильными делает нас именно глубина, именно сопряжение всех этих качеств с индивидуальной, личной предприимчивостью, с постоянным ощущением ответственности и самостоятельности всякой отдельной личности. Оттого и *смерть* — в тысяче обликов, какие принимает она на этой кровопролитнейшей войне за всю нашу историю, — явилась нашей душе иначе, чем является она душе восточных народов, которые еще не ведают этой духовности *индивидуальной* души. У нас и слезы лились по-другому; у нас острее и вернее осознание того, что сгинуло для нас с *каждой* отдельной потерей: ведь это всегда нечто незаменимое — иногда только для любящих сердец, иногда (сверх того) для всей нашей работы над созданием наднациональных, вечных ценностей или ценностей национальных, временных. <...> В этом напряжении между духом общности и индивидуальной любовью заключена душераздирающая, *трагическая* для нашего переживания судьба. Ушла на поля сражений и не вернулась та молодежь, чьи великолепные обетования для будущего едва начали раскрываться нам; молодежь, на которую мы возлагали наши лучшие, высшие надежды. <...> Утешить нас может единственно та истина, которую медленно раскрывает пред нашим духовным взором эта война — после того, как она по-новому явила пред нами идею смерти, вывела ее из того помутнения, в каком она пребывала в пору слепой погони за дневными благами. Война явила нам идею смерти как темный фон всякой жизни, впервые делающий зримым само благо этой жизни, а кроме того — как сильнейший стимул концентрации жизненных сил. Эта истина заключается в том, что государство и народ, как духовные и жизненные единства, безгранично превышающие единичную жизнь, хотя и имеют право *потребовать* саму жизнь индивидуума и даже должны ее потребовать, однако подлинным смыслом это право наделено только при том условии, что сама индивидуальная личность и ее внутренняя суть *не идентичны* с той жизнью, которую она приносит в жертву, то есть: что индивидуальная личность располагала этой жизнью всего лишь как собственностью,

милостью, заданием и долгом. Нам известно, что государства и народы живут неизмеримо дольше отдельных лиц, и мы ощущаем то, что именно поэтому они — для своего процветания — вправе и обязаны потребовать *жизнь* отдельной личности, поскольку эта личность является членом целого. Однако мы знаем и то, что государства и народы, несмотря на большую длительность своего земного существования, *конечны и смертны*, а индивидуальная единичная душа, несмотря на краткость ее жизни, бессмертна, а ее существование должно быть бесконечным, если явственно ощущаемое нами само достоинство ее бытия в «мире», умевшем породить эту войну, могло сохраниться и уцелеть вопреки всем случайностям свистящих вокруг пуль. Во всем этом еще не заключается «доказательства» вечного продолжения индивидуального существования, однако заключается новая предрасположенность духа: укрепить или заново обрести эту веру в вечность индивидуального существования, и во всяком случае, в будущие мирные дни осмыслить этот вопрос значительно глубже, чем было это возможно в пору господства избитых истин прежнего мирного времени.

Стало быть, очищающее страдание войны дало нам новое духовное зрение, чтобы увидеть этот мир и то, что находится выше этого мира. При этом надо заметить: не война как таковая, а то, каким именно образом, с какой ненавистью и ядом ведут ее против нашего народа наши враги, разоблачили перед нами общее моральное состояние Европы, наполнившее нас ужасом, но в то же время сознанием того, что сейчас, возможно, настает *последний* час, когда еще мог бы совершиться глубинный поворот в моральном сознании, охватывающий руководящие элиты всех европейских государств; когда такой поворот еще мог бы уберечь Европу от грозящей ей опасности надолго утратить свою ведущую роль в мире. Война *разоблачила*, а не обусловила отмечавшийся многими еще до войны, но всегда фарисейски прикрывавшийся моральный регресс Европы. И за это следует возблагодарить войну.

Будущие мирные дни должны будут стать временем величайшего раскаяния и искупления, из этого состояния душ должно будет родиться более зрелое и серьезное стремление к моральному восстановлению, — если те новые (возникшие благодаря войне) формы сознания, о каких я пытался говорить выше, будут иметь своим следствием новое обретение европейцами их достоинства. С верой в то, что на сей момент одинокому срединному народу Европы, что немецкой нации, объявленной «врагом Европы», однажды будет принадлежать роль: сделаться питающим источником этого европейского возрождения, — с этой верой живет и умирает Германия.

(пер. с нем. яз. и примеч. Г. Е. Потаповой)

Примечания

Переведено по изданию: Max Scheler. Krieg und Aufbau. Leipzig, 1916. S. 1–20.

Макс Шелер (1874–1928) — немецкий философ, антрополог и социолог. Уже в 1914 г. Шелер начал работать, а в 1915 г. опубликовал первую книгу своих военных размышлений: «Гений войны и Немецкая война» (Max Scheler. Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg. Leipzig, 1915). Шелер развивает ту систему взглядов, согласно которой за сражающимися сторонами стоят великие исторические идеи, далеко превышающие сферу политико-экономических интересов. Он поддерживает то деление наций на «торговые» и «героические», которое высказывалось В. Зомбартом («Торговцы и герои»), и в этом смысле противопоставляет немцев англичанам. Кроме того, Шелер противопоставляет немецкое понимание нации — французскому. Если во Франции нация основывается на политическом соглашении индивидуумов, то немецкое понимание нации — не политическое, а органическое: нация представляет собой единую духовную личность. Если Германия выстоит в войне, ее исторической миссией, по Шелеру, должно будет стать объединение Европы — как и решительное отеснение России (полностью чуждого Западной Европе начала) в Азию.

Для настоящей публикации выбрана начальная глава из второй военной книги Шелера, «Война и восстановление» (1916). Дальнейшие главы и разделы носят заглавия: «О восточном и западном христианстве», «Национальное во французской мысли», «О национальных идеях великих наций», «Замечания о духе и идейных основах демократий великих наций», «О милитаризме по убеждению и милитаризме цели», «Переориентация социологии и задание немецких католиков после войны», «О смысле страдания», «Любовь и познание».

[1] Шелер ориентируется здесь, скорее, на то толкование Евангелия от Иоанна, какое было дано в работах известного немецкого теолога, реформата Карла Барта (Barth, 1886–1968).